

Зиновий Паперный

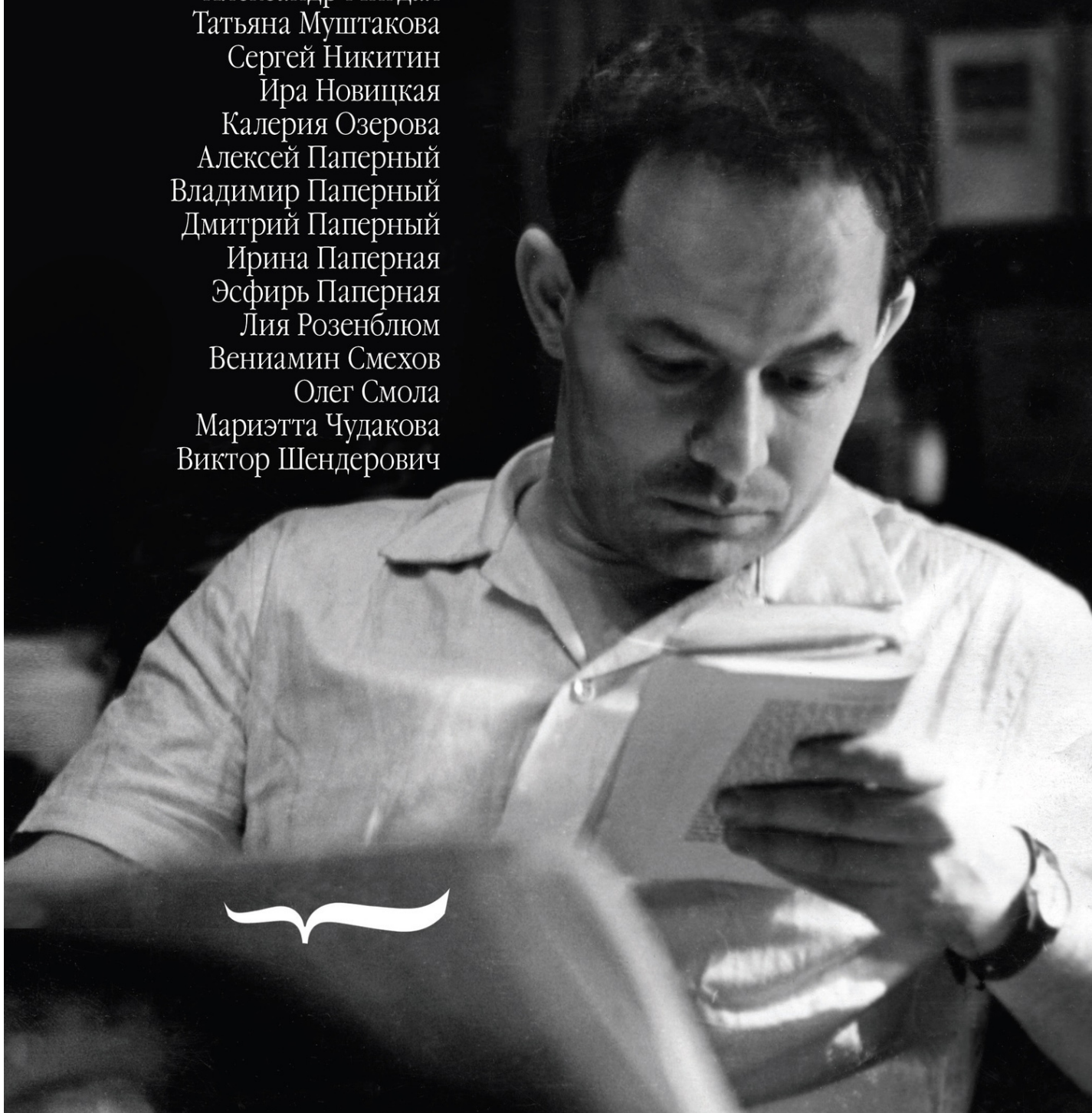
Homo Ludens

Сборник воспоминаний и документов к 100-летию.

Участники:

Наталия Булгакова
Григорий Горин
Владимир Катаев
Андрей Кнышев
Александр Мигдал
Татьяна Муштакова
Сергей Никитин
Ира Новицкая
Калерия Озерова
Алексей Паперный
Владимир Паперный
Дмитрий Паперный
Ирина Паперная
Эсфирь Паперная
Лия Розенблюм
Вениамин Смехов
Олег Смола
Мариэтта Чудакова
Виктор Шендерович

*Да здравствует все р,
Благодаря чему мы
Несеморд Ни ко что!
З. Паперный*



Коллектив авторов

Homo ludens

«НЛО»

2019

УДК 821.161.1.09

ББК 83.3г(2)6д

Коллектив авторов

Homo ludens / Коллектив авторов — «НЛО», 2019

Сборник посвящен Зиновию Паперному (1919–1996), известному литературоведу, автору популярных книг о В. Маяковском, А. Чехове, М. Светлове. Литературной Москве 1950-70-х годов он был известен скорее как автор пародий, сатирических стихов и песен, распространяемых в самиздате. Уникальное чувство юмора делало Паперного желанным гостем дружеских застолий, где его точные и язвительные остроты создавали атмосферу свободомыслия. Это же чувство юмора в конце концов привело к конфликту с властью, он был исключен из партии, и ему грозило увольнение с работы, к счастью, не состоявшееся – эта история подробно рассказана в комментариях его сына. В книгу включены воспоминания о Зиновии Паперном, его собственные мемуары и пародии, а также его послания и посвящения друзьям. Среди героев книги, друзей и знакомых З. Паперного, – И. Андроников, К. Чуковский, С. Маршак, Ю. Любимов, Л. Утесов, А. Райкин и многие другие.

УДК 821.161.1.09

ББК 83.3г(2)6д

© Коллектив авторов, 2019

© НЛО, 2019

Содержание

От составителя	6
Родственники	8
Владимир Паперный	10
Калерия Озерова	28
Конец ознакомительного фрагмента.	38

Зиновий Паперный

Homo ludens

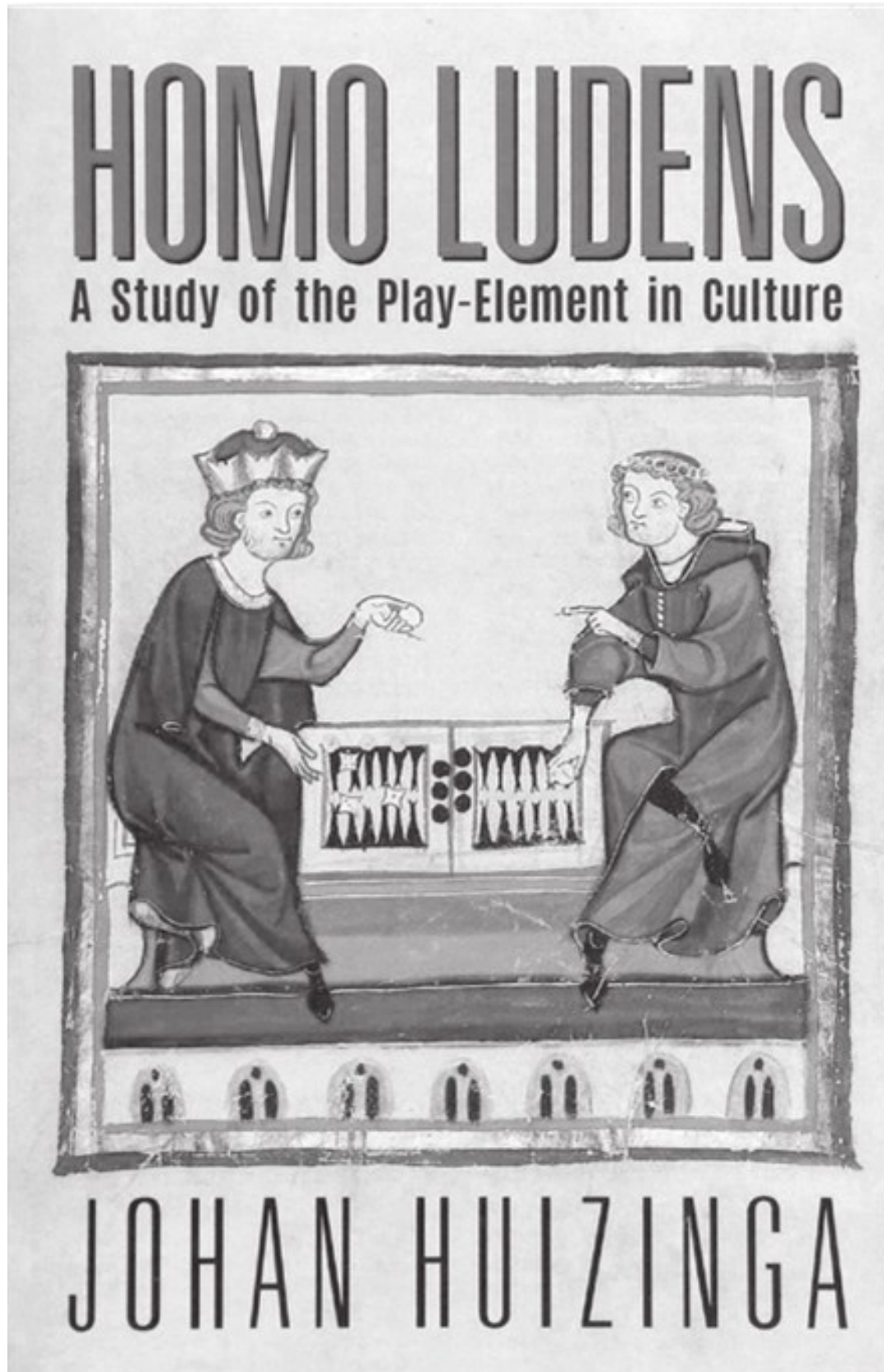
Сборник воспоминаний, документов

© В. Паперный, составл., примечания, макет, обложка, 2019

© Авторы, 2019, © ООО «Новое литературное обозрение», 2019

* * *

От составителя



Homo ludens, «Человек играющий» – книга 1938 года (русский перевод вышел в 1997 году), написанная нидерландским историком и культурологом Йоханом Хёйзингой, в которой он показал роль игры в развитии цивилизации. Игра, писал Хёйзинга, есть проявление свободы, при этом она не связана с материальными интересами и не может приносить прибыли.

Прочитав этот сборник, читатель убедится, что выражение «человек играющий» удивительно точно подходит к Зиновию Паперному, творческая жизнь которого состояла в постоянных переходах от серьезного литературоведения к пародиям, сатирическим стихам и политическим песням, которые не только не приносили прибыли, но иногда приводили к серьезным конфликтам.

Я признателен Ирине Прохоровой, которая с энтузиазмом откликнулась на мое предложение издать сборник воспоминаний и документов – в нем она увидела возможность задуматься о выживании интеллектуала в тоталитарном обществе. Сборник не мог бы состояться без помощи и советов моей жены, Марины Хрусталевой. Не могу не выразить глубокой благодарности моим новым друзьям Олегу и Ольге Смолам («Аж два О», как они себя называют) за поддержку, советы и привлечение участников, с которыми я был недостаточно знаком. Название воспоминаний Олега Смола, «Человек играющий», заставило меня вспомнить о книге Хёйзинги – отсюда *Homo Ludens* в подзаголовке этой книги. Большое спасибо всем авторам, каждый из которых сумел найти свой собственный взгляд на яркую, многогранную и во многом противоречивую личность моего отца.

Владимир («Вадик») Паперный, 2019

Родственники



Четыре поколения Паперных: Владимир, Самуил, Зиновий, Дмитрий. Баковка, 1975.
Архив семьи Паперных



Владимир и Зиновий, Дубулты, Латвия, 1950. Архив семьи Паперных

Владимир Паперный **«Какое блаженство быть храбрым бойцом...»**

Ради красного словца никогда не жалею родного отца
Зиновий Паперный, 1970-е

Когда читаешь воспоминания о Маяковском, всегда кажется, что речь идет о двух разных людях. В одних воспоминаниях это человек с мгновенной реакцией, заражающий всех энергией, непрерывно выдающий блестящие экспромты. В других – мрачный, неконтактный, депрессивный.

Я думаю, что мой отец принадлежал к этому же психологическому типу, который теперь принято называть «биполярным». У него тоже периоды бурной общительности и продуктивности сменялись периодами подавленности. Отсюда и его страстная (хочется даже сказать «взаимная») любовь к Маяковскому. Владимиром меня назвали именно в честь него. Воспоминаний современников о мрачных периодах отца практически нет, он избегал людей в такие моменты. Но для ребенка в них была своя прелесть. Я помню, мне шесть лет, отец лежит в кровати, а мама говорит, что папа себя плохо чувствует. Я залезаю к нему в кровать, и папа два часа подряд поет мне песни своей молодости – холодные волны вздымает лавиной, там вдали за рекой, мы красная кавалерия, белая армия – черный барон. Какой восторг! Меня даже не повели в ненавистный детский сад.

Эта его раздвоенность проявлялась во всем – с одной стороны, в уважении к авторитетам, в стремлении к высокому покровительству, с другой – в невозможности не высказать вслух пришедшую в голову любую, пусть даже святотатственную остроту. В 1950-м, например, он пел мне колыбельную собственного сочинения, заканчивающуюся такими словами:

И стоит на посту часовой,
Дни и ночи страну хранит.
Спи спокойно, мой дорогой,
Потому что Сталин не спит.

Это была не мимикрия, не конъюнктура, а нечто личное и глубоко прочувствованное. А всего четыре года спустя, на открытии кольцевой линии метро, когда мы с ним и с мамой ехали по эскалатору, он посмотрел на вертикальные светильники, заканчивающиеся бронзовыми коронами, и громко произнес: «На полной скорости движемся к монархии». Это была не столько острота, сколько точное наблюдение, все еще святотатственное: Сталин уже умер, но хрущевская кампания против «излишеств» еще не началась. Не случайно мама тогда испуганно зашептала: «Тише! Тише!»

Уважение к авторитету никогда не было у него подобоострастием. Он просто считал себя равным любому. В 1948 году в состоянии тяжелой депрессии, во многом вызванной тем, что происходило в это время в стране, он попытался войти в Кремль – рассказать обо всем Сталину. Его немедленно арестовали. От неминуемой гибели его спас, взяв на поруки, тот самый Владимир Ермилов, в то время главный редактор «Литературной газеты», о сложных отношениях с которым рассказывает в этом сборнике сам отец¹.

Когда в 1950-м ему пришлось в голову издавать домашнюю стенгазету под названием «Детская правда», он тут же, не задумываясь, позвонил Маршаку:

– Самуил Яковлевич, очень нужны стихи для «Детской правды».

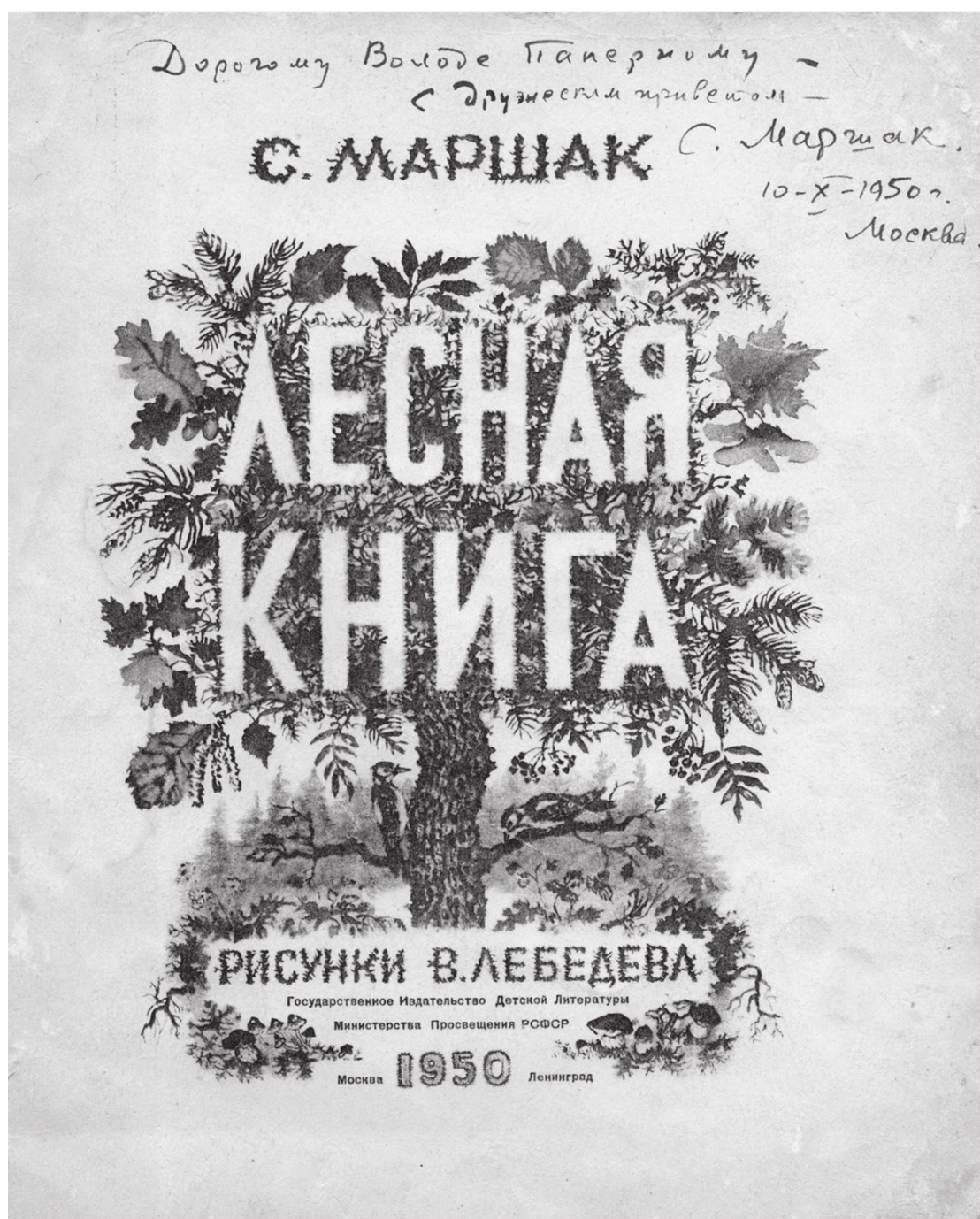
¹ «Бывали дни веселые...»

Добросовестный Маршак просит дать ему два часа. Потом звонит и говорит извиняющимся тоном:

– Вот, написал четверостишие, не знаю, как получилось, будьте снисходительны:

Газету эту издают
Для всех, кто сердцем чист.
Надеюсь в ней найти приют
Как старый дет-правдист.

Стенгазета выходит со стихами и портретом Маршака. А вскоре отец вручает мне книгу с прекрасными иллюстрациями Владимира Лебедева.



1970 год. Я прихожу домой из Института технической эстетики, где недавно начал работать.

– Ты что такой мрачный? – спрашивает отец.

– Мы с приятелем хотели отправить проект на международный конкурс, нужно было разрешение Соловьева, нашего директора, а нас к нему не допустили. Сегодня последний день.

– Ну позвони ему, у меня есть его домашний телефон.

– Позвонить? – я в шоке. – Я, младший дизайнер, позвоню домой директору института?

– Никогда не думай о таких вещах, – говорит отец. – Ты ничем не хуже его.

Замирая от страха, набираю номер.

– Хорошо, что ты позвонил, – говорит Соловьев. – Мне показали ваш проект – я ничего не понял.

Похоже, что я усвоил или унаследовал от отца раздвоенность по отношению к авторитетам. С одной стороны, когда институт праздновал день рождения Соловьева, я сделал юмористический коллаж, увидев который Соловьев позеленел. С другой стороны, после этого я уговорил его стать моим научным руководителем. Это руководство продолжалось недолго, потому что в 1972 году мы с младшей сестрой Таней решили эмигрировать, а в то время от эмигрантов требовали вернуть деньги «за бесплатное обучение». Аспирантура стоила дороже всего, поэтому, к большому удивлению Соловьева, я уволился. Отношение отца к нашей идее было двойственным. Он уже был исключен из партии, уже отказался писать заявление о восстановлении и всерьез подумывал, не поехать ли ему вместе с нами. С другой стороны, задавал себе вопрос: «А что я там буду пародировать и над чем смеяться?»

В 1981-м, когда Тани уже не было в живых, я наконец уехал, а через десять лет вопрос отца, оставшегося в СССР, «что теперь пародировать и над чем смеяться», возник для него с не меньшей остротой. Удовлетворительного ответа он так и не нашел.

Раздвоенность отца видна в постоянных колебаниях между литературоведением и сатирой. Нельзя сказать, что эйфорические и депрессивные состояния души коррелировали у него с серьезными занятиями и юмором. Даже в подавленном состоянии он каждое утро садился за свой рабочий стол. Если не писалось, занимался технической работой, делал выписки, вычитывал гранки. Остроты же рождались у него в любом состоянии, это был его, если угодно, способ познания мира. Он рассказал мне, как однажды, беседуя с врачом-психиатром, пытался объяснить врачу, что никакой объективной истины нет, что он, Зиновий Паперный, видит мир по-своему.

– Ну как же нет, – возражал врач. – Смотрите, вот окно, я вижу окно, и вы видите окно...

– Для вас это окно, – перебил отец, – а для меня это ОКНО – О, Калерия Николаевна Озерова.

Именно в этом секрет его юмора – способность видеть в слове не то, что всем кажется очевидным. По этому же принципу построены комические арии трех Ке, исполняемые Ансамблем верстки и правки². Например, в арии закрытого рецензента:

И проза, и проза, и про запас держу я мнение.

Чтоб **роза**, чтоб **роза**, чтоб **розабраться** не смогли.

Этот же прием – в посвящении Андрею Вознесенскому (цитирую по памяти): «Андрей! – наклонение повелительное. Желаю Вам победно реять, андрея, всех переандрейть!»

² См. воспоминания З. Паперного и К. Озеровой в этом сборнике.

И, конечно, еще один секрет его юмора – это скорость реакции, приближающаяся к знаменитым репликам его любимого Маяковского, вроде: «Вы возражаете, как будто воз рожаете».

Интересно, что два блестящих критика, близкие друзья семьи, Инна Соловьева и Майя Туровская, прекрасно знавшие эту раздвоенность, высказали два противоположных мнения о двух сторонах его характера и творчества.

– Останутся его серьезные работы, – сказала Инна Соловьева, – о записных книжках Чехова например. Что касается его собственного творчества – сомневаюсь. Был в начале XX века такой пародист Измайлов, не Лион Измайлов, а Александр Алексеевич. Кто-то, наверное, изучает пародии этого Измайлова, например, на «Жизнь Василия Фивейского» Леонида Андреева. Не исключено, что какой-нибудь въедливый исследователь когда-нибудь займется и пародиями Паперного.

Майя Туровская сказала прямо противоположное:

– Что было его главным делом? Быть человеком общества. В этом он был неповторим. Он был павлин. Невозможно забыть: вот все садятся за стол, и Зяма начинает распускать свой хвост. Это было прекрасно. Если представить себе эти годы без твоего отца, они были бы намного скучнее. Весь наш скепсис и цинизм по поводу власти никогда бы не были осознаны и сформулированы, если бы не было Зямы. А если бы не было его книжек о Чехове, ничего бы не произошло. Он был усидчив, мог сидеть над своими исследованиями, как никто другой. Но для Чехова ему не хватало чувствительности.

Эта же раздвоенность видна в его отношениях с моей мамой. Страстная любовь к ней периодически перемежалась столь же страстным донжуанством.

– А ты знаешь, что ты однажды спас нашу семью? – спросил он меня, когда у меня самого уже была семья. – Когда меня спрашивают, – продолжал он, – бывают ли счастливые браки, я всегда отвечаю: «Да, первые четыре года». Мы с твоей мамой поженились 15 марта 1941 года. В 1946-м меня послали школьным учителем в Ярославль. Там была одна молодая учительница, у нас с ней завязался роман. Она решила ехать в Москву и просить маму меня отпустить. Она приехала, они с мамой сели, и та начала говорить. В этот момент из алькова из-за шторы выбежал ты, такой двухлетний ангел с белыми кудрями. Учительница посмотрела на тебя, заплакала, сказала «простите меня» и уехала навсегда.

– Почему он в конце концов ушел от твоей мамы, – сказала Майя Туровская, – совершенно понятно. Лера была человеком моральным, а Зяма себя любил больше, чем мораль. Во всех случаях, когда надо было выбирать между моралью и собой, Лера выбирала мораль, а Зяма выбирал себя.

– Он был добрым, – говорила Инна Соловьева. – Есть люди, которые совершают жестокие поступки, потому что получают от этого удовольствие. Ему приходилось совершать жестокие поступки, по отношению к твоей маме например, но не потому, что он хотел быть жестоким, а потому, что был слишком занят собой.

Была еще одна причина непрекращающихся адюльтеров и в конце концов ухода отца из семьи. Его наркотиком было восхищение и обожание. И то и другое он получал в избытке везде, кроме дома. Мама любила его беззаветно, но она была профессиональным и достаточно строгим литературным критиком, что бесспорно повысило качество многих его статей, но демонстративного обожания и восхищения от нее не поступало. Что касается нас с сестрой Таней, то в 1970-х мы жили в чем-то вроде внутренней эмиграции – телевизор не включали никогда, новости узнавали только из передач Би-би-си по-английски, книги читали в основном англоязычные. Пародии и сатирические песни отца нас по-прежнему восхищали, но его «серьезное» литературоведение казалось нам безнадежно советским – не политически, а концептуально. Политически к моменту исключения из КПСС он уже проделал путь от сталиниста до, условно

говоря, диссидента. Хотя он не ходил на демонстрации протеста и не подписывал антиправительственных писем, тем не менее, уходя на партийные собрания, каждый раз говорил мне: «рейд в тыл врага», – поэтому исключение из партии было вполне заслуженным. Концептуально же его литературоведение казалось нам с Таней безнадежно устаревшим. Мы уже владели жаргоном Тартуской школы семиотики, а папа, как нам тогда казалось, все еще писал на языке Белинского. Этих своих оценок мы, к сожалению, не скрывали.



З. Паперный выступает, 1950-е. В аудитории Аркадий Райкин и его жена Рома. Архив семьи Паперных

Одно из качеств отца, которое помогало ему в самых разных ситуациях, – это способность к концентрации, которая, как и способность острить, сохранялась в любом состоянии. Между этими двумя способностями – концентрироваться и острить – возможно, есть какая-то связь. Я однажды советовался с ним – много разных проектов, не знаю, за какой хвататься.

– Есть только один способ, – сказал он, – ты занимаешься одним проектом, и, пока он не закончен, все остальное летит к чертовой матери.

Так он себя вел, когда писал докторскую диссертацию и готовился к защите. Диссертацию он, разумеется, защитил, хотя чувство юмора поставило исход защиты под сомнение: в день защиты в «Литературной газете» была опубликована его пародийная сценка «Защита в НИИ-КАКе»³, где официальные оппоненты были изображены как полные идиоты.

Первый раз я увидел в нем эту способность к концентрации, когда мне было лет пять. Он приходит домой и спрашивает меня, как жизнь.

– Пуохо, – отвечаю я.

– Ты что, букву «л» не выговариваешь? – спрашивает отец, обративший наконец внимание на ребенка.

– Да, – грустно говорю я.

³ См. «Искусство эстрады» (ред. В. Е. Ардов и др. М.: Советская Россия, 1961).

Он задумывается.

– Можешь сказать «лодка»?

– Уодка.

– А можешь сказать «лётка»?

– Лётка.

Он опять задумывается. Потом его осеняет:

– Встань на стул.

Я встаю.

– А теперь скажи «лодка».

Не знаю почему, но, стоя на стуле, я произношу это слово правильно. Что произошло? Он сконцентрировался на моей проблеме и понял, что меня надо поставить в непривычную ситуацию. Я стою на стуле, я оторван от пола, мне немножко страшно. При этом я большой, я стал с ним почти одного роста, а большие умеют произносить букву «л».

С тех пор я произношу все буквы вполне удовлетворительно, хотя переименование меня в Вадика – из-за невозможности произнести «Володя» в раннем детстве – оказалось неисправимым.

Еще один эпизод. У моего «полугоночного» велосипеда «Турист» сломался переключатель скоростей. Дело было на даче в Баковке. Друзья-соседи пытаются починить, но у них не получается.



Баковка, 1954. Зяма рассказывает детям про личную жизнь Чехова. Слева будущий академик Владимир Собкин, Ира Паперная, Таня Паперная (1952–1978). Архив семьи Паперных

– Попроси отца, – говорит Витька.

– Он доктор филологических наук, он не по этой части.

– Понятно, – сочувственно произносит Витька. На его лице написано: «Да, не повезло парню».

Делать нечего, иду к отцу. Он берет в руку сломанный переключатель и внимательно смотрит на него.

– Я думаю, – говорит он наконец, – если сильно ударить молотком вот сюда, все заработает.

Берет молоток и сильно ударяет именно туда. Происходит чудо – переключатель работает.

В раннем детстве эта его способность к концентрации иногда приводила к страданиям. Пятилетнему Зяме сказали, что вселенная бесконечна. Много дней он пытался представить это себе:

– Доходишь до конца, а тебе говорят: здесь не конец. А что?

Невозможность представить себе бесконечность так мучила ребенка, что он перестал спать. После нескольких бессонных ночей успокоил себя так:

– Ладно. Доходишь до конца, а дальше все досками заколочено.

Есть одно чувство, которого отец, по-моему, не испытывал никогда, – во всяком случае, я не могу припомнить ни одного эпизода. Это чувство страха. Он был убежден в бесконечности своей физической силы, которая действительно была поразительной, особенно после копания противотанковых рвов под Москвой в 1941-м и работы матросом в 1943-м⁴. Прекрасно помню, как он не задумываясь дал по морде дачному соседу, сказавшему что-то неуважительное моей маме.

Мне девять лет. Витька Воробьев кричит мне во дворе:

– Уезжай к себе в Биробиджан!

Надо иметь в виду, что дело происходит в январе 1953 года, в разгар кампании против еврейских врачей-убийц. В этот момент рядом с Витькой оказывается мой отец, зашедший во двор, чтобы забрать меня. Услышав Витькин призыв, отец мгновенно рефлекторным движением бьет Витьку по щеке. Витька воет от боли. Появляется старший брат Витьки, только что вышедший из тюрьмы. Весь двор замирает: сейчас зарежет. Уголовник подходит к отцу и начинает свое «щас пасть порву», устрашающе размахивая руками перед носом отца. На папу этот спектакль не производит никакого впечатления. Когда рука уголовного оказывается уж слишком близко от его лица, он берет его руку за запястье, сжимает и властно отводит в сторону. В конце концов уголовник отходит, бормоча что-то вроде: «В милицию буду жаловаться».

Еще один эпизод. Мы с младшей сестрой поехали кататься на велосипедах. Нас остановили какие-то хулиганы – им понадобилась запасная шина, которая была привязана к моему велосипеду и которую они без большого труда у меня конфисковали.

– Почему ты их не побил? – недоумевала восьмилетняя сестра.

Я пожал плечами.

– Папа бы их точно побил, – уверенно сказала она.

Я думаю, что она была права.

У отца было много общего с Ираклием Андрониковым – театральность, «распускание хвоста», способность имитировать других людей и, к сожалению, склонность к депрессиям. Это сходство приняло трагический оборот, когда у обоих любимые дочери покончили с собой.

Мне шесть лет. Андроников приходит к нам в гости. Уже в коридоре начинается спектакль с преувеличенными комплиментами и самоуничижением:

– К нам приехал великий... нет, это вы великий... гениальный... вы гига... вы гага...

⁴ См. воспоминания К. Озеровой в этом сборнике.

В коридор выходит мама. Отец продолжает спектакль по Чехову:

– Моя жена, Луиза, урожденная Ванценбах... лютеранка...

Мама недовольно морщится. Тут появляюсь я.

– А вот и наш кретин, – торжественно объявляет отец.

Интересно, что мне в мои шесть лет не приходит в голову обидеться – я присутствую на спектакле. Но мама этого вытерпеть не может.

– Зяма, – говорит она тихо, но так, что спектакль немедленно останавливается. – Что ты говоришь?

Папа растерянно смотрит на нее, не очень понимая, в чем проблема. Ситуацию спасает Андроников:

– Ну кто же может обижаться на такого отца! – говорит он весело, и оба опять начинают валять ваньку:

– Гига! Гага! Папирушкин!

Отец всегда восхищался талантом Андроникова-имитатора.

– Сижу вечером в номере и вдруг слышу громкие голоса, – вспоминал он. – Я прислушался и узнал голос Фадеева – высокий, чуть сипловатый, его заразительный, раскатистый смех. Фадеева перебил Симонов – его тоже нельзя было не узнать по манере произношения, по рокочущему «р». Затем послышался глуховатый, но четкий голос Маршака – он говорил, как всегда, с какой-то усталой повелительностью. Как видно, большая группа писателей шла по коридору. Может быть, выездной секретариат Союза писателей? Я вышел из номера и увидел... Ираклия Андроникова. Он шел с молодым человеком, что-то ему оживленно рассказывая. Он-то и был «группой писателей», их голосами он разговаривал⁵.

⁵ Паперный З. «Музыка играет так весело...» М.: Советский писатель, 1999. С. 124.



Ираклий Андроников, 1960-е. Архив семьи Андрониковых

Но и сам отец не уступал в этом Андроникову, что не всегда улучшало его отношения с имитируемыми. Эпизод из начала 1950-х. Сотрудник «Литературной газеты» Константин Лапин идет по длинному коридору редакции. В другом конце коридора появляется Симонов и обращается к уходящему Лапину со своим характерным произношением «р» и «л».

– Товахищ Уапин!

Лапин, уверенный, что это Зяма, отмахивается, не оборачиваясь:

– Отстань, надоел!

Симонов в недоумении:

– Товахищ Уапин!

– Надоел, надоел, отстань!

Этот беккетовский диалог продолжается довольно долго. В конце концов Лапин на всякий случай оборачивается, с ужасом видит, что это не Зяма, а Симонов, и быстро бежит назад:

– Ой, простите, Константин Михайлович! Я думал, это Паперный.

Как только отца исключили из партии, Андроников исчез; впрочем, не он один. По мере того как отец снова стал появляться в печати, а потом и на радио, друзья постепенно возвращались, одни с малоправдоподобными объяснениями, другие – честно: «сам понимаешь, семья». Андроников появился последним. Раздался телефонный звонок, я снял трубку. Слышу низкий, мрачный, почти прокурорский голос:

– Когда у вас изменился номер телефона?

Надо сказать, что наши с отцом голоса по телефону звучали очень похоже, благодаря этому сходству я все время узнавал об отце гораздо больше, чем мне хотелось бы. Поэтому, отвечая на звонки, я обычно сразу спешил сказать, что я не он.

– Здравствуйте, Ираклий Луарсабович, – быстро сказал я, – папы нет дома. Что ему передать?

Но Андроников уже не мог выйти из роли.

– Когда у вас изменился номер телефона? – повторил он еще более осуждающим тоном.

– Вы совершенно правы, Ираклий Луарсабович, – ответил я. – Номер действительно изменился. Около двадцати лет назад. Я передам папе, что вы звонили.

Отец, когда я пересказал ему этот разговор, задумался, потом сказал:

– Я не могу осуждать человека за то, что он беспокоился о благополучии семьи. Конечно, я позвоню ему.

Дружба восстановилась.

Летом отец часто ходил пешком через лес из нашей Баковки в писательский поселок Переделкино – иногда к Лиле Брик, иногда к Чуковскому, иногда просто пройтись. Иногда брал с собой меня, иногда Иру и других обитателей перенаселенной дачи.

– Пока мы не дошли до конца леса, – говорил он нам, – вы все должны выучить одно стихотворение. Сначала я прочту все подряд, а потом по одной строчке, а вы будете повторять.



Баковка, 1950-е. З. Паперный играет на мандолине. Архив семьи Паперных

Была ли это магия леса или интонации отца, но все выученные таким образом стихи застряли у меня в голове навсегда. Даже теперь, непонятно по какой логике, некоторые строчки вдруг начинают звучать в ушах:

Я покинул родимый дом,
Голубую оставил Русь.
В три звезды березняк над прудом
Теплит матери старой грусть...

Походы к Чуковскому всегда были драматичными. Чуковский был веселый провокатор. Вот они с отцом подходят к двери – отец его пропускает вперед как старшего. Тот его. Так они стоят перед дверью несколько минут, торгуясь, как Чичиков с Маниловым. Наконец Чуковский строго говорит:

– В конце концов, я старше, и я вам приказываю – идите первый!

– Подчиняюсь, – говорит отец и входит первым.

Чуковский входит за ним, бормоча:

– Вообще-то могли бы и старика пропустить.

Каждый раз, когда мы приходили к Чуковскому, он немедленно просил отца спеть ему «Песню критика».

– Корней Иванович, я вам ее уже сто раз пел...

– А почему я могу слушать Баха сто раз! – перебивал Чуковский. – Немедленно пойте.

Эта отцовская песня исполнялась на мотив «Кирпичиков», классического городского романса начала XX века. «Песню критика» стоит привести целиком:

Ночкой темною и укромною,
Лишь луна в облака уплыла,
Так случилось, получилось,
Что мамаша меня родила.

Родила меня непродуманно
И почувствовать сразу смогла,
Что не Шóпена и не Шумана
Человечеству в дар принесла.

Не М. Горького, не Д. Бедного,
Не Софронова et cetera,
Родила она меня, бедного,
Трудового пирата пера.

Вы на критика посмотрите-ка,
Как он беден, и бледен, и худ,
Все клюют меня, все плюют в меня
И не верят, что я не верблюд.

А сестра моя, Зойка Кедрина,
Этой муки снести не смогла,
В услужение в заведение
На бульвар в Литгазету пошла.

Есть еще одна, Берта Брайнина,
Федин Костенька фраер у ней.
Так заведено, все про Федина
Ей писать до скончания дней.

Ой, вы граждане и гражданочки,
Не скупитесь вы предо мной.
Что вам гривенник, что двугривенный,
Для меня ж это хлеб трудовой.

Видимо, было что-то в этой песне, что глубоко задевало много раз битого детского писателя и критика, потому что каждый раз Чуковский слушал с неподдельным восторгом. Куплет про Зойку Кедрину оказался провидческим. В 1965 году на процессе Синявского и Даниэля Зоя Сергеевна Кедрина выступила в роли общественного обвинителя от лица Института мировой литературы, где работали и Синявский, и отец. А критикесса Берта Яковлевна Брайнина действительно получила Сталинскую премию за книгу о советском классике Константине Федине. С ней связана семейная история. Когда мне было три года, как мне рассказывал потом отец, мы с ним гуляли по писательскому поселку Переделкино. Навстречу шла Брайнина.

Увидев меня, «белокурого ангела», она закричала:

– Боже, какой сказочный ребенок! Ребенок, скажи мне, что ты хочешь, и я тебе это подарю.

Я, по словам отца, огляделся, увидел пасущуюся на лугу козу и твердо сказал:

– Козу.

– Ребенок! – экзальтированно закричала Брайнина. – В присутствии твоего гениального отца клянусь, что у тебя будет коза!

Эту историю отец рассказал мне через пятнадцать лет.

– И где коза? – спросил я.

– Ну, – сказал он, – это же была шутка.

– Нет, – сказал я, – я этого так не оставлю. Клятвы надо соблюдать. Дай мне ее адрес.

Очевидно, слава отца-пародиста не давала мне покоя. Я написал примерно следующее: «Уважаемая Берта Яковлевна, хочу напомнить Вам об одном эпизоде пятнадцатилетней давности...» Далее шло подробное изложение эпизода. Заканчивалось оно так: «Как видите, Берта Яковлевна, я терпеливо ждал пятнадцать лет. Теперь, когда я достиг совершеннолетия, я хотел бы попросить Вас сообщить мне примерные сроки доставки козы».

Через неделю улыбающийся отец вручает мне коробку.

– Она прочла твое письмо и закричала примерно с той же интонацией, как пятнадцать лет назад: «Боже, какой сказочный ребенок!» А вот это твоя коза.

В коробке была пластмассовая коза, «мой первый литературный гонорар», как сказал бы Бабель.

В 1957 году Чуковский построил у себя на даче детскую библиотеку. Всех знакомых писателей попросил приносить туда книги. Отец принес целую пачку.

– Признайтесь, – сказал ему Чуковский, рассмотрев книги, – вынесли эту пачку на помойку, и вам было просто лень до нее дойти.

В следующий раз папа тщательно отобрал книги и даже купил несколько новых.

– И это все, на что вы способны? – спросил Чуковский.

Отец понял, что он должен победить провокатора.

В 1950-х годах Советский Союз уже помогал Вьетнаму в борьбе с французскими колонизаторами, покупая по дешевке вьетнамские товары. В советских магазинах неожиданно появи-

лись вьетнамские циновки. Все, у кого были какие-то деньги, бросились их покупать, хотя мало у кого размеры комнат соответствовали размерам циновок. Мои родители тоже купили циновку и, только развернув ее дома, поняли, что она никуда не влезает. Ее отвезли на дачу, но и там для нее не хватало места. Так она и лежала на террасе, свернутая в рулон. Вот ее-то папа и решил подарить библиотеке Чуковского.

Дело было в январе. Мы с ним взяли лыжи и поехали на электричке в Баковку. Проваливаясь в снег почти по пояс, добрались до замерзшей террасы. Вытащили рулон, надели лыжи и, взяв палки в одну руку, обхватив неудобный рулон другой, двинулись через лес, он спереди, я сзади. Было около двадцати градусов мороза. Рука, державшая рулон, замерзала. Ноги в лыжных ботинках тоже. Мы много раз останавливались и прыгали, стараясь согреться. Вся дорога заняла больше часа. Наконец входим в теплую, ярко освещенную библиотеку.

– Мы кое-что привезли Корнею Ивановичу.

– Сейчас мы за ним сбегает.

– Быстро, – говорит мне отец. – Разворачиваем и стелем на пол прямо вот здесь.

Циновка подошла по размеру идеально. Появляется Чуковский, и начинается спектакль. Классик детской литературы, почетный доктор Оксфордского университета катается на полу по нашей циновке с криком:

– Я верил, что Паперный рано или поздно раскошелится!

В моей калифорнийской жизни был период, когда я вдруг начал перебирать в памяти все «обиды», полученные от отца. Вспомнил, как лет в пять я недоумевал: «Почему, когда папа шутит, все смеются, а когда я шучу, все говорят: “Помолчи и не встревай в разговоры взрослых”?» Почему, когда двадцать лет спустя я вручил ему рукописный сборник своих стихов, отец написал разгромную рецензию, да еще на машинке? Почему ему нравились мои рисунки и дизайн, а любое мое литературное творчество вызывало уничижительную, при этом остроумную критику? Почему на моих проводах в квартире у друзей он с удовольствием пел свои песни, а когда друзья попросили меня спеть мои, сразу помрачнел и все остальное время сидел с недовольным видом? И как он посмел назвать меня «кретином» в присутствии Андроникова?

Только сейчас, вспоминая наше с Таней отношение к его «старомодному» литературоведению, я начинаю понимать, что желание принизить другого у нас с ним было, во-первых, взаимным, а во-вторых, неосознанным. Что-то вроде литературного эдипова комплекса.

Незадолго до его смерти я был в Москве, мы гуляли, и я, следуя теории американского психиатра Дэвида Вискотта не держать все в себе, рассказал ему о своих обидах. Отец был поражен. Он не имел никакого представления о моих травмах. Инна Соловьева права. Он был добрым человеком и не получал удовольствия от жестокостей, которые он иногда неосознанно совершал. Наша последняя прогулка закончилась полным примирением. От обид, реальных или придуманных, не осталось следа. Мне все чаще вспоминаются счастливые моменты.

Мне восемь лет. Папа ведет меня в Консерваторию. Мы будем слушать «Эгмонта» Бетховена в концертном исполнении. Я уже два раза был в Консерватории и знаю, что Бетховен нарисован слева на стене, между Мусоргским и Чайковским. В программке написано: «Героический голландский народ под руководством Эгмонта восстал против испанцев. Эгмонт погиб, но голландцы добились независимости».

Начинается увертюра. Через четыре года она станет гимном «венгерской революции», но я узнаю об этом только лет через пятнадцать, а пока продолжаю читать программку, которая кажется мне бессмысленным набором слов: «Медленное вступление вводит в основное содержание разворачивающейся драмы, рисуя картину угнетения и страданий порабоженного народа. Противостоят друг другу тяжелые мерные аккорды струнных в ритме испанской сарабанды и жалобные вздохи, переходящие от гобоя к кларнету, от фаготов к скрипкам».

– А ты знаешь, – шепчу я папе, показывая на орган, – что за этими трубами еще другие трубы, но их не видно.

Папа кивает.



Владимир и Зиновий, Ленинград, 1956. Архив семьи Паперных

– А за теми трубами – еще трубы. А за ними еще трубы.

Папа кивает.

– Нет, правда, там очень много труб, но их не видно.

Папа опять кивает. Начинается песня Клерхен:

Гремят барабаны, и флейты звучат.
Мой милый ведет за собою отряд.

Папа наклоняется ко мне и шепчет на ухо:

– А за ними еще трубы.

Я громко смеюсь. На нас шикают.

Клерхен продолжает:

Какое блаженство быть храбрым бойцом!
Какое блаженство быть храбрым бойцом!
Быть храбрым бойцом!

Улыбающийся папа наклоняется ко мне. Я уже понимаю, что он хочет сказать, и смеюсь. На нас шикают. Клерхен не унимается:

Ах, если бы латы и шлем мне достать!
Я стала б отчизну свою защищать,

Бетховен – папин любимый композитор. Он увлеченно слушает и едва заметно дирижирует пальцем. Он уже забыл про трубы. Я наклоняюсь к нему. Он доверчиво подставляет ухо. Я говорю громким шепотом:

– А за ними еще трубы!

Тут мы оба заливаемся громким неудержимым смехом. Подходит билетерша, и нас с позором выводят из зала. Последнее, что мы слышим:

Какое блаженство быть храбрым бойцом!
Быть храбрым бойцом!

Мы идем по улице, папа держит меня за руку, и мы оба абсолютно счастливы.



Калерия Озерова, 1930-е. Архив семьи Паперных

Калерия Озерова

Как мы жили⁶

В 1930-х годах в Москве открылся необычный институт – ИФЛИ, Институт истории, философии и литературы. Он находился в Сокольниках, это большой парк, но наш институт был еще дальше, за парком. Парк кончался, потом шел лес, это пять остановок на трамвае от Сокольников. Сначала я ехала на шестом троллейбусе, садилась у Камерного театра, доезжала две остановки до Арбата, потом на метро до «Библиотеки Ленина», а оттуда до Сокольников. Вся дорога занимала около часа в общей сложности.

Это был совершенно изумительный институт. Кто составлял программы, до сих пор понять нельзя. Это была программа старой русской гимназии, но в улучшенном виде, намного шире. Разыскивали старых преподавателей, потому что некому, например, было преподавать латынь. Эти преподаватели прозябали где-то, забытые, заброшенные, голодные. Они с такой радостью стали работать! Я там целый год учила латынь. Знаю даже, как начинается книга Цезаря «Записки о Галльской войне»: *Gallia est omnis divisa in partes tres, unam partem incolunt Belgae*. «Галлия вся разделена на три части, на одной из них обитают Бельги». Я и дальше знала, но сейчас не помню.

Там училась Рая Либерзон, она потом вышла замуж за Леню Шершера, с которым они учились вместе в школе, а много лет спустя – за Леву Копелева. Рая была необыкновенно активная комсомолка, вот с такой шевелюрой выющихся волос, они стояли у нее дыбом. Она и некоторые другие поступили после девятого класса. Леня Шершер был очень остроумный человек. Худой такой, бледный. С типично еврейским носом. Был редактором нашей стенной газеты «Комсомолия», она делалась с таким энтузиазмом, что каждый раз получалась необыкновенной длины, целиком занимала всю стену коридора. Чего только там не было – статьи, карикатуры. Обязательно стихи наших поэтов, Павла Когана и Эдьки Подаревского. Зяминных стихов там не было, он тогда писал только лирические стихи и только мне. Там было два знаменитых остряка – Эдька и Зяма. Оба писали стихи, но Зяма говорил, что Эдька слишком увлекался игрой, а не «звучатикой» стиха. Зяма вообще любил неологизмы, как и его любимый Маяковский.

⁶ Записал Владимир Паперный в 2004 году.



ИФЛИ, выпуск 1941-го. Архив семьи Паперных

Интересно, у нас начался с Зямой роман, а тут Эдька тоже в меня влюбился и как-то решил со мной вступить в контакт. Но тут Зяма встал насмерть, они даже подрались. Их разнимали, оба были поцарапанные. Потом помирились. В моей жизни было так: я пришла в институт, мы с Зямой встретились. Когда начался роман – все, на этом все мои романтические истории были заперты на ключ, не было ничего. Так и прожила до развода в 1980-м. Когда я работала в журнале, ко мне приходили старые друзья – Рафа Щедринский, Борис Шнайдер, они уже работали в других местах.

– А ты знаешь, что я в тебя был влюблен? – спросил Борис.

– Ты с ума сошел!

– Ну как же, я пытался через твоего Зямку пробиться, но ничего не получалось.

И Рафка Щедринский пытался меня провожать домой, но тоже ничего не вышло. Если бы я была более свободной, может быть, прожила бы более веселую жизнь.

В первый день учебного года занятий не было, это был международный юношеский день, все студенты шли на демонстрацию на Красную площадь. А там на Мавзолее стояли вожди. Один вождь лежал внизу в гробу, а наверху стояли вожди тутошние. Идти пешком от Сокольников до Красной площади не меньше трех часов. Построились, пошли, оказались в шеренге по четыре человека. Шли, останавливались, пропускали другие колонны. Кто-то пришел с гармошкой. Как только мы останавливались, начиналась музыка, сразу начинали танцевать, прыгать, вообще было веселье.

Мы оказались с Зямой в одном ряду и разговорились. Что ты любишь читать? Маяковского. И я люблю Маяковского. Я люблю Чехова. А я обожаю Чехова. Боже мой, как все совпадает! Самуил Лазаревич читал им дома Чехова по вечерам, а Маяковского Зяма сам полюбил.

Мы разговорились, как-то хорошо разговаривали. Потом Зяма все время мелькал, здравствуй-здравствуй, весь сентябрь так проходили, а потом он перестал почему-то ходить. Мы

тогда еще не были так хорошо знакомы, чтобы интересоваться, почему человек не ходит. Не ходит и не ходит.

Где-то к концу декабря он появляется, наконец, и садится недалеко от меня. Потом вдруг пишет мне записку: «А ты знаешь, я тебя люблю». Боже мой, с ума сошел человек! Потом говорит: «Не уходи после лекции домой, поговорим». Ну пожалуйста, давай поговорим. Кончается лекция, мы не идем домой, а выходим на пятый этаж, туда вела лесенка, там чердак, считалось, что это кабинет помощника ректора, а на самом деле там сидел работник НКВД Яша Додзин.

Кстати, Яша был прекрасным человеком и многим помогал. Агнессе Кун, например, когда арестовали ее отца, помог удержаться в ИФЛИ. Предупредил ее быть поосторожнее с Люсей Черной, которая пересказывает ему все разговоры. Вместе с Агнессой тогда исключили из комсомола и выслали из Москвы Ханку Ганецкую, дочку польского революционера, и Ёлку Муралову, дочь коменданта Кремля. Им Яша помочь не смог. Когда в 1954 году был 20-летний юбилей ИФЛИ, Ханка и Ёлка, только что вернувшиеся из лагерей, сказали – если там будет Люся, они не придут.

Теперь часто пишут: «в эту страшную эпоху террора ИФЛИ был оазисом». Не был. Шли процессы, у нас проходили эти дикие собрания, где дети арестованных должны были публично каяться, отречься от родителей. Нужно было голосовать за их исключение. А бывало и так, что человека исключали из комсомола, а потом он просто исчезал. У нас был такой Иван Шатилов. Я сделала доклад о международном положении, еще на первом курсе, Иван подошел ко мне и сказал:

– Оказывается, девчонки умеют соображать.



Стоят: Калерия Озерова, Анна Берзер; сидят: неизвестные, 1937. Архив семьи Паперных

Я просияла. Через неделю его исключили из комсомола, уже не помню, за что. Еще через несколько дней он исчез. Много лет спустя пришел ко мне в «Новый мир».

– Ты меня узнаешь?

– Да.

– Я знаю, кто на меня донес, но тебе не скажу, потому что вы все его обожаете.

Я поняла, что речь идет про Павла Когана. Рассказала Зяме. Он помрачнел:
– Никогда никому не рассказывай!

Меня унесло куда-то в сторону.

И вот в тот день мы с Зямой поднимаемся по лесенке на пятый этаж, он притащил два стула, мы садимся, и он начинает объясняться мне в любви. Он так хорошо и интересно говорил, что мы просидели там, наверное, час. Народ уже почти разошелся, а мы пошли домой пешком. От ИФЛИ до метро идти минут сорок. И с тех пор эта дорога до метро стала нашей традицией. Это мы еще шли после трех часов дня, после занятий, а потом, когда надо было готовиться к экзаменам, сидели допоздна.

Мы оба были фанатиками учебы, потому что учиться было необыкновенно интересно. У нас была такая программа – все на свете, история, начиная с Египта, потом Греция, Рим, Средние века. Одну лекцию он записал для меня стихами. Это на первом курсе было, лекция профессора Сергиевского. Всю лекцию записал стихами в моей тетради:

Товарищи, что мы зрим?
Сулла идет на Рим.
Идет за одной одна
Самнительная война.
Самнительная, пойми ты,
Потому что дрались самниты.

Все, что помню. Тетрадь эта пропала. При разводе, кстати.

В десять часов вечера институт запирался, и мы шли домой. А иногда, когда нас распирала нежность, мы шли не только до метро «Сокольники», а дальше пешком. Трудно передать, сколько времени это занимало – дойти туда, где я жила, в Богословский переулок.

Приходила домой часа в три ночи. А вставать в полвосьмого. Я еще была такая бойкая, что в восемь уже выходила. А вечером мы идем-идем, сворачиваем в мой переулочек около Камерного театра, и я вижу, у нашего крыльца стоит мама, которая волнуется, но видит, что мы идем вдвоем, и она юрк – и скорее бегом-бегом наверх. Как будто она спит – не ждала и не волновалась.

В 1938-м мы с Зямой поехали в Крым, в Курпаты. Тут уже и родителям пришлось познакомиться, это мой папа достал нам путевки в санаторий Наркомата совхозов, где он был директором клуба. Родители оплатили поездку пополам. Ощущение было странное, конечно. Мы не женаты, ни о чем не объявляли, просто хотим ехать отдыхать.

В Курпатах Зяма заболел. Это было уже второй раз, первый раз было, когда он исчез на первом курсе. Про первый раз он рассказывал неохотно, говорил, что болела голова, была бессонница. Тут в Курпатах он внезапно стал меняться. Однажды утром, когда надо было собираться на пляж, он лежал в кровати и пел: «Там, вдали, за рекой зажигались огни». Сначала я решила, что это игра, и стала ему подпевать, но вдруг заметила у него в глазах слезы.

– Что с тобой?

– Я вспомнил дядю Левика. Как они с моим папой хохотали всю ночь, когда он приезжал. Я знаю, что его расстреляли...

– Как расстреляли? Он же сорвался в пропасть.

– Это тайна, никому никогда не говори, его расстреляли как американского шпиона... Он был членом РСДРП с 1915 года... Я не могу жить с этим... Я не хочу жить с этим... Я не хочу жить...



Николай и Серафима Озеровы, около 1940. Архив семьи Паперных

Вид у него был страшный, глаза полузакрыты, мертвенная бледность. Он опять начал петь:

И боец молодой
Вдруг поник головой,
Комсомольское сердце пробито.

Я помчалась на почту и дала телеграмму Ите Израилевне: «Зямой плохо». Ей не надо было ничего объяснять, она появилась через трое суток с санитаром, все мы погрузились сначала в автобус до Симферополя, потом в купе поезда Симферополь – Москва, а потом, не заезжая домой, прямо в Кашенко, где его уже знали. После месяца в Кашенко Зяма полностью пришел в себя и снова с головой бросился в институтскую жизнь.

Мы решили пожениться в начале 1941 года. Мы были на последнем курсе, уже знали, какие экзамены, страшно много занимались. Рассуждали, что же нам делать дальше, нас могут распределить в разные места. Либо мы разъезжаемся, либо мы должны пожениться. Мы не считали наш роман каким-то легкомысленным событием, считали, что все правильно. Зямино объяснение в любви было 4 марта 1937 года, а 15 марта 1941 года мы расписались, и я переехала к ним.

Мой папа – человек старых нравов, из патриархальной московской семьи. Я знаю, что полагается у папы просить руки. Зяма говорит: я не могу, это как-то странно, старомодно. Но что делать, надо уважать чужие традиции. Короче, мы поехали, а я папу предупредила, что мы приедем. Он, конечно, догадывался, зачем приедем – когда я приходила домой из института, если мы не шли пешком, я тут же брала телефонную трубку, и мы с Зямой разговаривали часами. Папа пытается домой дозвониться – занято. Так что он понимал.

Папа что-то приготовил, купил вина. Мы пришли, сели за стол. Папа разливает вино и говорит: ну, за что пьем? Зяма молчит. Обычно за столом говорит не переставая, а тут сник. Папа говорит: ну хорошо, выпьем за знакомство. Еще полчаса, еще наливает. За что пьем? Зяма молчит. Весь вечер – наливают, пьют, а он молчит. Наконец, папа еще раз разливает и говорит: я уж не знаю, за что и пить-то. Тут, наконец, Зяма берет себя в руки и выдавливает из себя:

– Николай Иванович, я прошу руки вашей дочери.

– Какая неожиданность! – говорит папа не очень убедительным тоном. – Ну что же, дети, будьте счастливы.

Вадик потом спрашивал, как относились и те и другие родители к нашему русско-еврейскому браку. Единственное, что я знаю, – у Зямы был разговор с Муней, младшей сестрой Иты Израилевны. Муня ему сказала:

– Ты не должен на ней жениться, рано или поздно она назовет тебя жидом.

Я, естественно, ничего подобного ему не говорила, тем более что я и слова такого тогда не знала. А потом, когда мы уже познакомились, у нас с Муней да и со всей Зяминой семьей были прекрасные отношения. Муня говорила, что лучше человека, чем мой отец, она не знает, особенно после того, как он, рискуя служебным положением, сумел вывезти всю еврейскую часть семьи в эвакуацию. Что касается моих родителей, они Зяму необыкновенно любили. Не знаю, может быть в душе им и хотелось, чтобы продолжение семьи было более близким и родственным, но они никогда этого не показывали. Когда в 1948 году у него был этот роман с учительницей из Ярославля, а потом тяжелая депрессия и я собралась от него уходить, моя глубоко верующая мама сказала:

– Доченька, как же можно бросить больного человека!

Свадьба наша была 15 марта 1941 года. Уже шла Вторая мировая война, но нас она как-то не коснулась. Нас коснулся отвратительный братский союз с Гитлером. Это было в 1939 году, а до этого мы сочувствовали Франции, нам казалось, что английские войска где-то неподалеку, была какая-то надежда. Нацизм ничего кроме отвращения не вызывал.

По поводу этого пакта с Гитлером люди по большей части недоумевали и не понимали. Но молча. У нас были свои проблемы, 1937 год, людей арестовывали. А еще надо было готовиться к экзаменам – не только за пятый курс, а за все пять лет. Весь русский язык – современный русский язык, его нам читал профессор Ушаков, автор «Словаря Ушакова», старославянский язык, историю русского литературного языка, потом диалекты. Все это надо было повторить и сдать на экзамене. На столе лежат билеты, там три вопроса из разных сфер. Русскую литературу надо было знать от «Слова о полку Игореве» до, скажем, Константина Симонова. Естественно, Пушкин, Лермонтов, Некрасов – все это надо было держать в голове, а когда отвечаешь – цитаты по памяти. Сейчас, когда я плохо сплю, вспоминаю цитаты. Могу прочесть наизусть сон Татьяны или «Дар напрасный, дар случайный...».

Две недели сидели дома безвыходно. Бедная Ита Израилевна готовила нам обеды. Мы вставали рано утром, сразу за свои учебники, тетради, потом друг другу рассказывали. Спали очень мало. Двадцать первого июня, в субботу, пошли сдавать. Сдали все очень хорошо, пришли счастливые домой, рано легли спать. Зямины родители нас не будили, с утра уехали на дачу отдохнуть, они тоже мучились с нами эти две недели. Часов в двенадцать звонки и стук в дверь. С трудом просыпаемся. Стук усиливается. Я в ночной рубашке, накинула халат и бегу открывать. Там стоит Зямин брат Борис:

– Что вы спите, что вы спите, идиоты!

– Что случилось?

– Вы не знаете? Война! Какое счастье, война! Мы с Гитлером будем воевать, с фашистами. Мы им дадим!

Война. Самуил Лазаревич эвакуировался с военно-морской школой, где он преподавал русский язык и литературу, то ли в Коломну, то ли в Калугу, не помню. Зяма, у которого после эпизода 1938 года был белый билет, копал окопы под Ельней вместе с Давидом Самойловым, у которого тоже был белый билет. Я окончила курсы медсестер и дежурила в метро на учебных тревогах. В квартире оставались только мы с Итой Израилевной. А на пятом этаже второго корпуса – Мира, жена Бориса, на седьмом месяце беременности.

В этот момент моего папу назначают начальником эшелона, вывозящего в эвакуацию всех детей Наркомата совхозов – детский сад, пионерлагерь и всех остальных детей. Я поехала к нему, а он говорит мне решительным тоном, каким он никогда со мной не разговаривал: собирайся, ты поедешь с нами. Я говорю: папа, как же я уеду без Зямы? А он: ты оставишь ему письмо, я дам адрес, я знаю, куда мы едем. Мы с Зямой к этому времени оба уже получили назначение в Саратовский университет преподавать русский язык. Я говорю: как же я могу ехать в эвакуацию, у меня назначение в Саратов. А он: я тебя здесь не оставляю. Он, видимо, слышал уже, что делается на оккупированных территориях, с начала войны уже прошло двадцать дней.

Я возвращаюсь домой и спрашиваю Иту Израилевну, что же мне делать. А она:

– Папа правильно говорит, тебе надо ехать. Но у меня к тебе просьба: поговори с папой, не возьмет ли он меня с Мирой, она не может остаться в Москве в таком положении.

Я опять еду к папе:

– Ита Израилевна замечательный учитель и прекрасный организатор.

Папа задумался. Детей-то вывозили без матерей, без отцов. А тут поедет начальник эшелона с женой и дочерью, но это ладно, но еще со сватьей и ее беременной невесткой. Потом сказал решительно:

– Ладно, где моя не пропадала!

Едем в товарном вагоне в Миловку, в Башкирию, двенадцать километров от Уфы. Зяме я оставила очень длинное письмо, очень трогательное, с напутственными словами. Началась жизнь в эвакуации. Борис, который окончил институт связи, мобилизован. Сначала его послали в Ленинград в Академию связи, откуда он должен был отправиться на фронт. Его письма были полны нетерпения: «Нас тут держат неизвестно почему, а там полным ходом идет война». Наконец он оказался в уральском городке Чебаркуле, где формировались дивизии, уходящие на фронт. Ита Израилевна решила попытаться с ним встретиться. Я хорошо помню ее рассказ об этой поездке.



Борис Паперный, 1938. Архив семьи Паперных

Поезда шли без расписания, добирались кто как мог. С большими мучениями она добралась до Чебаркуля. Приехала туда поздно ночью. Вокзал забит бойцами. Она нашла место на скамейке рядом с двумя солдатами и задремала. Когда открыла глаза, увидела военного с красной повязкой на рукаве шинели. Обратилась к нему:

– Я учительница, жена командира военно-морской школы, еду к сыну – лейтенанту Борису Паперному. Вот мои документы.

– Это очень сложно, – сказал он. – Уйдет не меньше трех-четырех дней. И нет уверенности, что найдете его полк.

Военный ушел, а Ита Израилевна бессильно опустилась на скамью.

– А ты к кому едешь-то? – спросил пожилой солдат, сидящий рядом.

– К сыну.

– К сыну? Это совсем другое дело! Я думал, жена. Жен-то много, а мать одна. Ты не убивайся, что-нибудь придумаем.

Его размеренная речь напомнила ей толстовского Платона Каратаева.

Под утро вышли из вокзала. Солдат взял ее чемоданчик и все дорогу поддерживал. Был лютый мороз и очень скользко. Рядом кто-то грязно выругался.

– Не видишь, с нами мать! – строго оборвал его пожилой солдат и добавил, обращаясь к ней: – Нам только мост перейти, там, правда, патруль, но мы пройдем.

Ее довели до командирской палатки. Внутри в полумраке при свете коптилки увидела фигуры трех военных. Вдруг один из них бросился к ней. Она опешила: перед ней стоял повзрослевший, подтянутый усатый лейтенант Борис.

Все утро они были вместе. Ходили по заснеженным, залитым холодным зимним солнцем полям. Говорили, говорили без конца.

– Работа начальника связи полка, – успокаивал он ее, – совершенно не опасна. Да и победа близка. Я должен рассчитаться с Гитлером – как комсомолец и как еврей.

Тень прошла по его лицу, когда он заговорил о жене и дочке Ирочке, которой только что исполнился месяц.

– Я много думаю, – сказал он, – как после войны вернусь домой и займусь воспитанием дочки. Теперь уже скоро...

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.